



ИОСИФ БРОДСКИЙ  
КАППАДОКИЯ

СТИХИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
1993

**Иосиф Бродский**

**КАППАДОКИЯ**

**Санкт-Петербург  
1993**

**ББК 84.РИ**

**Б-88**

**Приложение к альманаху "Петрополь"**

**Серия "Петербургское соло". Вып. 10.**

**Иосиф Бродский. Кападокия. Стихотворения, СПб, 1993.**

**Издание подготовлено при участии издательства "Александра"**

**Художник Анатолий Клеймиц**

**Редакционно-издательский совет серии:**

**Юрий Гальперин, Виктор Кривулин, Лютаурас Казакевичус, Мартин Ван Гауберген,  
Николай Якимчук (главный редактор).**

**Издатели благодарят художников, передавших свои произведения в фонд альманаха "Петрополь": Сергея Алипова, Юрия Брусовани, Ирину Власову, Владимира Жигулина, Елену Зайцеву, Нугзара Кахвани, Анатолия Клеймица, Бориса Филиппова, Андрея Ханова, Бориса Энгельгардта, Александра Яна.**

**Издатели благодарят за многовариантное содействие Сергея Курёхина.**

**Издатели благодарят мецената Дмитрия Защеринского.**

**Издатели выражают признательность АО "Престиж"  
(генеральный директор Б.Л. Блотнер) за благотворительную поддержку.**

## ПАМЯТИ Н.Н.

Я позабыл тебя; но помню штукатурку  
в подъезде, вздувшуюся щитовидку  
труб отопления вперемежку с сыпью  
звонков с фамилиями типа "выпью"  
или "убью", и псориаз асбеста,  
плюс эпидемию - грибное место  
электросчетчиков блокадной моды.  
Ты умерла. Они остались. Годы  
в волну бросаются княжною Стеньки.  
Другие вывески; другие деньги,  
другая поросьль, иная падаль.  
Что делать с прожитым теперь? И надо ль  
вообще заботиться о содержаньи  
недр гипоталамуса, т. е. ржаньи;  
раскатов коего его герои  
не разберут уже, так далеко от Трои.

Что посоветуешь? Развеселиться?  
Взглянуть на облако? У них - все лица  
и в очертаниях - жакет с подшитым  
голландским кружевом. Но с парашютом  
не прыгнуть в прошлое, в послевоенный  
пейзаж с трамваями, с открытой веной  
реки, с двузначностью стиральных меток.  
Одиннадцать квадратных метров  
напротив взорванной десятилетки  
в мозгу скукожились до нервной клетки,  
включив то байковое одеяло  
станка под лебедем, где ты давала  
подростку в саржевых портках и в кепке.  
Взглянуть на облако, где эти тряпки  
везде разбросаны, как в том квадрате,  
с одним заданием: глаз приучить к утрате?

Не стоит, милая. Что выживает, кроме  
капризов климата? Другое время,  
другие лацканы, замашки, догмы.  
И я - единственный теперь, кто мог бы  
припомнить всю тебя в конце столетья  
вне времени. Сиречь без платья,  
на простыне. Но, вероятно, тело  
сопротивляется, когда истлело,  
воспоминаниям. Как жертва власти,  
греху отказывающей в лучшей части  
существования, тем паче - в праве  
на будущее. К вящей славе,  
видать, архангелов, вострящих грифель:  
торс, бедра, ягодицы, плечи, профиль  
- все оборачивается расплатой  
за то объятие. И это - гибель статуй.  
И я на выручку не подспею.  
На скромную твою Помпею  
обрушивается мой Везувий  
забвения: обид, безумий,  
перемещения в пространстве, азий,  
европ, обязанностей; прочих связей  
и чувств, гонимых на убой оравой  
дней, лет, и прочая. И ты под этой лавой  
погребена. И даже это пенье  
есть дополнительное погребенье  
тебя, а не раскопки древней  
единственной, чтобы не крикнуть - кровной!  
цивилизации. Прощай, подруга.  
Я позабыл тебя. Видать, дерюга  
небытия, подобно всякой ткани,  
к лицу тебе. И сохраняет, а не  
  
растрчивает, как сбереженья,  
тепло, оставшееся от изверженья.

## ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЖИРОЛАМО МАРЧЕЛЛО

Однажды я тоже зимою приплыл сюда из Египта, считая, что буду встречен на запруженной набережной женой в меховом манто и в шляпке с вуалью. Однако, встречать меня пришла не она, а две старенькие болонки с золотыми зубами. Хозяин-американец объяснял мне потом, что если его ограбят, болонки позволят ему свести на первое время концы с концами. Я поддакивал и смеялся.

Набережная выглядела бесконечной и безлюдной. Зимний, потусторонний свет превращал дворцы в фарфоровую посуду и население - в тех, кто к ней не решается прикоснуться.

Ни о какой вуали, ни о каком манто речи не было. Единственной прозрачной вещью был воздух и розовая, кружевная занавеска в гостинице "Мелеагр и Атланта", где уже тогда, одиннадцать лет назад, я мог, казалось бы, догадаться, что будущее, увы, уже настало. Когда человек один, он в будущем, ибо оно способно обойтись, в свою очередь, без сверхзвуковых вещей, обтекаемой формы, свергнутого тирана, рухнувшей статуи. Когда человек несчастен, он в будущем.

Теперь я не становлюсь больше в гостиничном номере на четвереньки, имитируя мебель и защищаясь от собственных максим. Теперь умереть от горя, боюсь, означало бы умереть с опозданием; а опаздывающих не любят именно в будущем.

Набережная кишит  
подростками, болтающими по-арабски.  
Вуаль разрослась в паутину слухов,  
перешедших впоследствии в сеть морщин,  
и болонок давно поглотил их собачий Аушвиц.  
Не видать и хозяина. Похоже, что уцелели  
только я и вода: поскольку и у нее  
нет прошлого.

## ВИД С ХОЛМА

Вот вам замерзший город из каменного угла.  
Геометрия оплакивает свои недра.  
Сначала вы слышите трио, потом - пианино негра.  
Река, хотя не замерзла, все-таки не смогла  
выбежать к океану. Склонность петлять сильней  
заметна именно в городе, если вокруг равнина.  
Потом на углу загорается дерево без корней.  
Река блестит как черное пианино.

Когда вы идете по улице, сзади звучат шаги.  
Это - эффект перспективы, а не убийца.

За два  
года, прожитых здесь, вчера превратилось в завтра.  
И площадь, как граммпластинка, дает круги  
от иглы обелиска. Что-то случилось сто  
лет назад, и появилась вежа.  
Вежа успеха. В принципе, вы - никто.  
Вы, в лучшем случае, пища эха.  
Снег летит как попало; диктор

твердит: "циклон".

Не выходи из бара, не выходи из бара.  
Автомобиль светом фар толчею колонн  
сводит вдали с ума, как слонов Ганнибала.  
Пахнет пустыней, помнящей смех вдовы.  
"Бэби, не уходи", говорит Синатра.  
То же эхо, но в записи; как силуэт сената,  
скука, пурга, температура, вы.

Вот вам лицо вкрутую, вот вам его гнездо;  
блеск желтка в скорлупе с трещинами от стужи.  
Ваше такси на шоссе обгоняет еще ландо  
с венками, катящее явно в ту же  
сторону, что и вы, как бы само собой.  
Это - эффект периметра, зов окраин,  
низкорослых предместий, чей сон облаян  
тепловозами, ветром, вообще судьбой.



И потом - океан. Глухонемой простор.  
Плоская местность, где нет построек.  
Где вам делать нечего, если вы историк,  
врач, архитектор, делец, актер  
и, тем более, эхо. Ибо простор лишен  
прошлого. То, что он слышит - сумма  
собственных волн, беспрецедентность шума,  
который может быть заглушен

лишь трубой Гавриила. Вот вам большой набор  
горизонтальных линий. Почти рессора  
мироздания. В которой петляет соло  
Паркера: просто другой напор,  
чем у архангела, если считать в соплях.  
А дальше, в потемках, держа на Север,  
проваливается и возникает сейнер,  
как церковь, затерянная в полях.

*2 февраля 1992 г.*

*Вашингтон*

## ТОМАСУ ТРАНСТРЕМЕРУ

Вот я и снова под этим бесцветным небом,  
закаленным перистым, рыхлым, единым хлебом  
души. Немного накрапывает. Мышь-полевка  
приветствует меня свистом. Прошло полвека.

Барвинок и валун, заросший густой щетиной  
мха, не сдвинулись с места. И пахнет тинной  
блеклый, в простую полоску, отрез Гомеров,  
которому некуда деться из-за своих размеров.

Первыми это заметили, скорее всего, деревья,  
чья неподвижность тоже следствие недоверья  
к птицам с их мельтешеньем и отражает строгость  
взгляда на многорукость - если не одноногость.

В здешнем бесстрастном, ровном, потустороннем свете  
разница между рыбой, идущей в сети,  
и мокнущей под дождем статуей алконавта  
заметна только привыкшим к идее деленья на два.

И более двоеточье, чем частное от деленья  
голоса на бессрочье, исчадь оледененья,  
я припадаю к родной, ржавой, гранитной массе  
серой каплей зрочка, вернувшейся восвояси.



Или пусть не приеду. Любая из этих рытвин  
либо воды в колодезе привкус бритвин,  
прутья обочины, хаос кочек -  
все-таки я: то, чего не хочешь.

Езжай в деревню, подруга. Знаешь, дурня, лица  
лишь подтверждают, что можно слиться  
разными способами; их - бездны,  
и нам, дорогая, не все известны.

Знаешь, пейзаж - то, чего не знаешь.  
Помни об этом, когда там судьбе пеняешь.  
Когда-нибудь, в серую краску уставясь взглядом,  
ты узнаешь себя. И серую краску рядом.

## МИХАИЛУ БАРЫШНИКОВУ

Раньше мы поливали газон из лейки.  
В комара попадали из трехлинейки.  
Жука сажали, как турка, на кол.  
И жук не жужжал, комар не плакал.

Теперь поливают нас, и все реже - ливень.  
Кто хочет сует нам в ребро свой бивень.  
Что до жука и его жужжания,  
всюду сходят с ума машины для подражания.

Видно время бежит; но не как часы, а прямо.  
И впереди, говорят, не гора, а яма.  
И рассказывают, кто приезжал оттуда,  
что погода там лучше, когда нам худо.

Помнишь скромный музей, где не раз видели  
одного реалиста шедевр "Не дали"?  
Был ли это музей? Отчего не назвать музеем  
то, на что мы теперь глазеем?

Уехать, что ли в Испанию, где испанцы  
увлекаются боксом и любят танцы,  
когда они ставят ногу, как розу в вазу,  
и когда убивают быка, то сразу.

Разве что облачность может смутить пилота;  
как будто там кто-то стирает что-то  
не уступающее по силе  
света тому, что в душе носили.

Снаружи темнеет, верней - синее, точней - чернеет.  
Деревья в окне отменяет, диван комнеет.

Я выдохся за день, лампу включать не стану  
и с мебелью в комнате вместе в потемки кану.

Пора признать за собой поверхность и, с ней, наклонность  
к поверхности, оставить претензии на одушевленность;  
хрустнуть суставами, вспомнить кору, коренья  
и, смахнув с себя пыль, представить процесс горенья.

Вор, скрипя половицей, шаря вокруг как Шива,  
охнет, наткнувшись на нечто твердое, от ушиба.

Но как защита от кражи, тем более - разговора,  
это лучше щекотки и крика "держите вора".

Темнеет, точней - чернеет, вернее - деревенеет,  
переходя ту черту, за которой лицо дурнеет,  
и на его развалинах, вприсядку и как попало,  
неузнаваемость правит подобье бала.

В конце концов темнота суть число волокон,  
перестающих считаться с существованьем окон,  
неспособных представить, насколько вещь окрепла  
или ослепла от перспективы пепла

и в итоге - темнеет, верней - ровнеет, точней - длиннеет.

Незрячесть крепчает, зерно крупнеет;

ваш зрачок расширяется, и, как бы в ответ на это,  
в мозгу всю разгорается лампочка анти-света.

Так пропадают из виду: но настоящий финиш  
не там, где кушетку вплотную к стене придвинешь,  
но в ее многоногости за полночь, крупным планом  
разрывающей ленточку с надписью "Геркуланум".

## КАППАДОКИЯ

Сто сорок тысяч воинов Понтийского Митридата - лучники, конница, копья, шлемы, мечи, щиты - вступают в чужую страну по имени Каппадокия. Армия растянулась. Всадники мрачно поглядывают по сторонам. Стыдясь своей нищеты, пространство с каждым их шагом чувствует, как далекое превращается в близкое. Особенно - горы, чьи вершины, устав в равной степени от багрянца зари, лиловости сумерек, облачной толчеи, приобретают - от зоркости чужестранца - в резкости, если не в четкости. Армия издалека выглядит как извивающаяся река, чей исток норовит не отставать от устья, которое тоже все время оглядывается на исток. И местность, по мере движения армии на восток, отражаясь как в русле, из бурого захолустья

преображается временно в гордый, бесстрастный задник истории. Шарканье многих ног, ругань, звяканье сбруи, поножей о клинок, гомон, заросли копий. Внезапно дозорный всадник замирает как вкопанный: действительность или блажь? Вдали, поперек плато, заменив пейзаж, стоят легионы Суллы. Сулла, забыв про Мария, привел сюда легионы, чтоб объяснить кому принадлежит, вопреки клейму зимней луны, Каппадокия. Остановившись, армия выстраивается для сраженья. Каменное плато в последний раз выглядит местом, где никогда никто не умирал. Дым костра, взрывы смеха, пенье: "Лиса в капкане". Царь Митридат, лежа на плоском камне, видит во сне неизбежное: голое тело, грудь, лядвие, смуглые бедра, колечки ворса.

Тоже самое видит все остальное войско, плюс легионы Суллы. Что есть отнюдь

не отсутствие выбора, но эффект полнолуния. В Азии пространство, как правило, прячется от себя и от упреков в однообразии в завоевателя, в головы, серебра то доспехи, то бороду. Залитое луной, войско уже не река, гордящаяся длиной, но обширное озеро, чья глубина есть именно то, что нужно пространству, живущему взаперти, ибо пропорциональна пройденному пути. Вот отчего то парфяне, то, реже, римляне, то и те и другие забредают порой сюда, в Каппадокию. Армии суть вода, без которой ни это плато, ни, допустим, горы не знали бы, как они выглядят в профиль; тем паче, в три

четверти. Два спящих озера с плавающим внутри телом блестят в темноте как победа флоры над фауной, чтоб наутро слиться в ложбине в общее зеркало, где уместится вся Каппадокия - небо, земля, овца, юркие ящерицы - но где лица пропадают из виду. Только, поди, орлу, парящему в темноте, привыкшей к его крылу, ведомо будущее. Глядя вниз с равнодушьем птицы - поскольку птица, в отличие от царя, от человека вообще, повторима - орел, паря в настоящем, невольно парит в грядущем и, естественно, в прошлом, в истории: в допоздна затянувшемся действии. Ибо она, конечно, суть трение временного о нечто постоянное. Спички о серу, сна

о действительность, войска о местность. В Азии быстро светает. Что-то щебечет. Дрожь пробегает по телу, когда встаешь, заражая зябкостью долговязые, упрямо жмущиеся к земле тени. В молочной рассветной мгле слышатся ржание, кашель, обрывки фраз.



И увиденное полумиллионом глаз  
солнце приводит в движенье копыа, мослы, квадриги,  
всадников, лучников, ратников. И войска  
идут друг на друга, как за строкой строка  
захлопывающей посередине книги  
либо - точней! - как два зеркала, как два щита, как два  
лица, два слагаемых, вместо суммы  
порождающих разность и вычитанье Суллы  
из Каппадокии. Чья трава,

себя не выдавшая отродясь,  
больше всех выигрывает от звона,  
лязга, грохота, воплей и проч., глядясь  
в осколки разбитого вдребезги легиона  
и упавших понтийцев. Размахивая мечом,  
царь Митридат, не думая ни о чем,  
едет верхом, среди хаоса, копий, гама.  
Битва выглядит издали как слитное "О-го-го",  
верней, как от зрелища своего  
двойника взбесившаяся амальгама.  
И с каждым падающим в строю  
местность, подобно тупящемуся острию,  
теряет свою отчетливость, резкость. И на востоке и  
на юге опять восцаряются расплывчатость, силуэт;  
это унесут с собою павшие на тот свет  
черты завоеванной Каппадокии.

## ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ

Лети по воле волн, кораблик.  
Твой парус похож на помятый рублик.  
Из трюма доносится визг республик.  
Скрипят борта.

Трещит обшивка по швам на ребрах.  
Кормщик болтает о хищных рыбах.  
Пища даже у самых храбрых  
валится изо рта.

Лети, кораблик, не бойся бури.  
Неистойей, но бесцельней пули,  
она и сама не знает, в ту ли  
сторону ей

кинуться, или в эту. Или  
в третью. Их вообще четыре.  
Ты в этом смысле почти в квартире;  
владелец - Гиперборей.

Лети, кораблик! не бойся острых  
скал. Так открывают остров,  
где после белеют кресты матросов,  
где, век спустя,

письма, обвязанные тесемкой,  
вам продает, изумляя синькой  
взора, прижитое с туземкой  
ласковое дитя.

Не верь, дружок, путеводным звездам,  
схожим вообще с офицерским съездом.  
Тебе привязанность к праздным безднам  
скорей вредна.

Верь только подлинно постоянной  
демократии волн с её пеной  
на губах возникающей в спорах пеной  
и чувством дна.

Одни плывут вдаль проглотить обиду.  
Другие - чтоб насолить Эвклиду.  
Третьи - просто пропасть из виду,  
им по пути.

Но ты, кораблик, чей кормщик Боря,  
не отличай горизонт от горя.  
Лети по волнам стать частью моря,  
лети, лети.

## ЛИДО

Ржавый румынский танкер, барахтающийся в лазури,  
как стоптанный полуботинок, который, вздохнув разули.

Команда в одном исподнем - бабники, онанюги -  
загорает на палубе, поскольку они на юге,

но без копейки в кармане, чтоб выйти в город,  
издали выглядящий, точно он приколот,

как открытка, к закату; над рейдом плывут отары  
туч, запах потных подмышек и перебор гитары.

О, Средиземное море! после твоей пустыни  
ногу тянет запутаться в `уличной паутине.

Палубные надстройки и прогнивший базис  
разглядывают в бинокль порт, как верблюды - оазис.

Ах, лишь истлев в песке, растеряв наколки,  
можно, видать, пройти сквозь ушко иголки,

чтоб сесть там за круглый столик с какой-нибудь ненаглядной  
местных кровей под цветной гирляндой

и слушать, как в южном небе над флагом морской купальни  
шелестят, точно пальцы, мусоля банкноты, пальмы.

## ПРИСТАНЬ ФЕГЕРДАЛА

Деревья ночью шумят на берегу пролива.  
Видимо, дождь; ибо навряд ли ива,  
не говоря - сосна, в состояньи узнать, в потемках,  
в мелкой дробе листа, в блеске иглы, в подтёках  
ту же самую воду, данную вертикально.  
Осознать это может только спальня  
с ее опытом всхлипывания; либо - голые мачты шведских  
яхт, безмятежно спящих в одних подвязках, в одних подвесках  
сном вертикали, привыкшей к горизонтали,  
комкая мокрые простыни пристани в Фегердале.

\* \* \*

Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос.  
Я вижу не то, во что ты одета, а ровный снег.  
И это не комната, где мы сидим, но полюс;  
плюс наши следы ведут от него, а не к.

Когда-то я знал на память все краски спектра.  
Теперь различаю лишь белый, врача смутив.  
Но даже если песенка вправду спета,  
от нее остаётся еще мотив.

Я рад бы лечь рядом с тобою, но это - роскошь.  
Если я лягу, то - с дёрном заподлицо.  
И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках  
и сварит всмятку себе яйцо.

Раньше, пятно посадив, я мог посыпать щелочь.  
Это всегда помогало, как тальк прыщу.  
Теперь вокруг тебя волнами ходит сволочь.  
Ты носишь светлые платья. И я грущу.

Взгляни на деревянный дом.  
Пмножь его на жизнь. Помножь  
на то, что предстоит потом.  
Полученное бросит в дрожь  
иль поразит параличом,  
оцепенением стропил,  
бревенчатостью, кирпичем -  
всем тем, что дымоход скопил.

Пространство, в телескоп звезды  
рассматривая свой улов,  
ломящийся от пустоты  
и суммы четырех углов,  
темнеет, заражаясь не-  
одушевленностью, слепой  
способностью глядеть вовне,  
ощупывать его тропой.

Он - твой не потому, что в нем  
все кажется тебе чужим,  
но тем, что, поглощен огнем,  
он не проговорит: бежим.  
В нем твой архитектурный вкус.  
Рассчитанный на прочный быт,  
он из безадресности, плюс  
необитаемости сбит.

И он перестоит века,  
галактику, жилую часть  
грядущего, от паука  
привычку перенявши прясть  
ткань времени, точнее - бязь  
из тикающего сырца,  
как маятником, колотясь  
о стенку головой жильца.

## RITRATTO DI DONNA

Не первой свежести - как и цветы в ее  
руках. В цветах - такое же враньё  
и та же жажда будущего. Карий  
глаз смотрит в будущее, где  
ни ваз, ни разговоров о воде.  
Один гербарий.

Отсюда - складчатость. Сначала - рта,  
потом - бордовая, с искрой, тафта,  
как занавес, готовый взвиться  
и обнаружить механизм ходьбы  
в заросшем тупике судьбы;  
смутить провидца.

Нога в чулке из мокрого стекла  
блестит, как будто вплавь пересекла  
Босфор и требует себе асфальта  
Европы или же, наоборот, -  
просторов Азии, пустынь, щедрот  
песков, базальта.

Каменя в низком декольте. Под ней,  
камеей, - кружево и сумма дней,  
не тронутая их светилом,  
не знающая, что такое - кость,  
несобираемая в горсть;  
простор белилам.

Что за спиной у ней, oprичь ковра  
с кинжалами? Ее вчера.  
Десятилетия. Мысли о Петрове,  
о Сидорове, не говоря  
об Иванове, возмущавших зря  
пять литров крови.



Что перед ней сейчас? Зима. Стамбул.  
Ухмылки консула. Настырный гул  
базара в полдень. Минареты класса  
земля-земля или земля-чалма  
(иначе - облако). Зурма, сурьма.  
Другая раса.

Плюс эта шляпа типа лопуха  
в провинции и цвета мха.  
Болтун с палитрой. Кресло. Англичане  
такие делали перед войной.  
Амур на столике: всего с одной  
стрелой в колчане.

Накрашенным закрытым ртом  
лицо кричит, что для него "потом"  
важнее чем "теперь", тем паче -  
"тогда"! Что полотно - стезя  
попасть туда, куда нельзя  
попасть иначе.

Так боги делали, вселяясь то  
в растение, то в камень: до  
возникновенья человека. Это  
инерция метаморфоз  
сиеной и краплагом роз  
глядит с портрета,

а не сама она. Она сама  
состарится, сойдет с ума,  
умрет от дряхлости, под колесом, от пули.  
Но там, где не нужны тела,  
она останется какой была  
тогда в Стамбуле.

## СЕМЕНОВ

*Владимиру Уфлянду*

Не было ни Иванова, ни Сидорова, ни Петрова.  
Был только зеленый луг и на нем корова.  
Вдали по рельсам бежала цепочка стальных вагонов.  
И в одном из них ехал в отпуск на юг Семенов.  
Время шло все равно. Время, наверно, шло бы,  
не будь ни коровы, ни луга: ни зелени, ни утробы.  
И если бы Иванов, Петров и Сидоров были,  
и Семенов бы ехал мимо в автомобиле.  
Задумаешься над этим и, встретившись взглядом с лугом,  
вздрогнешь и отвернешься - скорее всего с испугом:  
ежели неподвижность действительно мать движенья,  
то отчего у них разные выраженья?  
И не только лица, но - что важнее - тела?  
Сходство у них только в том, что им нет предела  
пока существует Семенов: покуда он, дальний отпрыск  
времени, существует настолько, что едет в отпуск;  
покуда поезд мычит, вагон зеленеет, зелень коровой бредит;  
покуда время идет, а Семенов едет.

\* \* \*

Неважно, что было вокруг, и неважно,  
о чем там пурга завывала протяжно,  
что тесно им было в пастушьей квартире,  
что места другого им не было в мире.

Во-первых, они были вместе. Второе -  
и главное было, что их было трое,  
и все, что творилось, варилось, дарилось  
отныне, как минимум, на три делилось.

Морозное небо над ихним причалом  
с привычкой большого склоняться над малым  
сверкало звездой - и некуда деться  
ей было отныне от взгляда младенца.

Костер полыхал, но полено кончалось;  
все спали. Звезда от других отличалась  
сильней, чем свеченьем, казавшимся лишним,  
способностью дальнего смешивать с ближним.

*25-е дек. 1990*

## ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА

Умолкает птица.  
Наступает вечер.  
Раскрывает веер  
испанская танцовщица.

Звучат удары  
луны из бубна  
и глухо, дробно  
вторят гитары.

И чёрный туфель  
на гладь паркета  
ступает; это -  
как ветер в профиль.

О, женский танец!  
Рассказ светила  
о том, что было,  
чего не станет.

Он - слепок боли  
в груди и взрыва  
в мозгу, доколе  
сознание живо.

В нём - скорбь пространства  
о точке в оном,  
себя напрасно  
считавшем фоном.

В нем - все: угрозы,  
надежда, гибель.  
Стремленье розы  
вернуться в стебель.

В его накале  
в любой детали -  
месть вертикали  
горизонтالي.

В нем - пыткой взгляда -  
сквозь туч рванину  
зигзаг разряда  
казнит равнину.

Он - кровь из раны:  
побег из тела  
в пейзаж без рамы.  
Давно хотела!

Там - больше места!  
Знай, сталь кинжала,  
кому невеста  
принадлежала.

О, этот танец!  
В пространстве сжатый  
протуберанец  
вне солнца взятый!

Оборок пена;  
её круженье  
одновременно  
её крушенье.

В нём сполох платья  
в своём полете  
свободней плоти,  
и чужд объятья.

В нём чувство брезжит,  
что мирозданье  
ткань не удержит  
от разрастанья.

О, этот сполох  
шелков! по сути -  
спуск бёдер голых  
на парашюте.

Зане не тщится,  
чтоб был потушен  
он, танцовщица.  
Подобно душам,

так рвется пламя,  
сгубив лучину,  
в воздушной яме,  
топча причину,  
виденье Рая,  
факт тяготенья,  
чтоб - расширяя  
свои владенья -

престол небесный  
одеть в багрянец.  
Так сросся с бездной  
испанский танец.

## ПОРТРЕТ ТРАГЕДИИ

Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее морщины,  
ее горбоносый профиль, подбородок мужчины.  
Услышим ее контральто с нотками чертовщины:  
хриплая ария следствия громче, чем писк причины.  
Здравствуй, трагедия! Давно тебя не видали.  
Привет, обратная сторона медали.  
Рассмотрим подробно твои детали.

Заглянем в ее глаза! В расширенные от боли  
зрачки, наведенные карим усиьем воли  
как объектив на нас - то ли в партере, то ли  
дающих, наоборот, в чей-то судьбе гастрولي.  
Добрый вечер, трагедия с героями и богами,  
с плохо прикрытыми занавесом ногами,  
с собственным именем, тонушим в общем гаме.

Вложим ей пальцы в рот с расшатанными цингюю  
клавишами, с воспаленным вольтовой дугою  
нёбом, заплеванным пеплом родственников и пургою.  
Задерем ей подол, увидим ее нагою.  
Ну, если хочешь, трагедия, - удиви нас!  
Изобрази предательство тела, вынос  
тела, егонный минус, оскорбленную невинность.

Прижаться к щеке трагедии! К черным кудрям Горгоны,  
к грубой доске с той стороны иконы,  
с катящейся по скуле, как на Восток вагоны,  
звездю, облюбовавшей околыши и погоны.  
Здравствуй, трагедия, одетая не по моде,  
с временем, получающим от судьбы по морде.  
Тебе хорошо на природе, но лучше в морге.

Рухнем в объятия трагедии с готовностью ловеласа!  
Погрузимся в ее немолодое мясо.  
Прободаем ее насквозь, до пружин матраса.  
Авось она вынесет. Так выживает раса.

Что нового в репертуаре, трагедия, в гардеробе?  
И - говоря о товаре в твоей утробе -  
чем лучше роль крупной твари роли невзрачной дроби?

Вдохнуть ее смрадный запах! Подмышку и нечистоты  
помножить на сумму пятых углов и на их кивоты.  
Взвизгнуть в истерике: "За кого ты  
меня принимаешь"! Почувствовать приступ рвоты.  
Спасибо, трагедия, за то, что непоправима,  
что нет аборта без херувима,  
что не проходишь мимо, пробуешь пыром вымя.

Лицо ее безобразно! Оно не прикрыто маской,  
ряской, замазкой, стыдливой краской,  
руками, занятыми развязкой,  
бурной овацией, нервцой встряской.  
Спасибо, трагедия, за то, что ты откровенна,  
как колуном по темени, как вскрытая бритвой вена,  
за то, что не требуешь времени, что - мгновенна.

Кто мы такие, не-статуи, не-полотна,  
чтоб не дать свою жизнь изуродовать бесповоротно?  
Что тоже можно рассматривать как приплод; но  
что еще интереснее, ежели вещь бесплотна.  
Не брезгуй ею, трагедия, жанр итога.  
Как тебе, например, гибель всего святого?  
Недаром тебе к лицу и пиджак, и тога.

Смотрите: она улыбается! Она говорит: "Сейчас я  
начнусь. В этом деле важнее начать, чем  
кончиться. Снимайте часы с запястья.  
Дайте мне человека, и я начну с несчастья".  
Давай, трагедия, действуй. Из гласных, идущих горлом,  
выбери "ы", придуманное монголом.  
Сделай его существительным, сделай его глаголом,

наречьем и междометием. "Ы" - общий вдох и выдох!  
"Ы" мы хрипим, бляя от потерь и выгод  
либо - кидаясь к двери с табличкой "выход".



Но там стоишь ты, с дрыном, глаза навывкат.  
Врежь по-свойски, трагедия. Дави нас, меси как тесто.  
Мы с тобою повязаны, даром, что не невеста.  
Плюй нам в душу, пока есть место

и когда его нет! Преврати эту вещь в трясиноу,  
которой Святому Духу, Отцу и Сыну  
не разгрести. Загустей в резину,  
вкати ей кубик аминазину, воткни там и сям осину:  
даешь, трагедия, сходство души с природой!  
Гибрид архангелов с золотою ротой!  
Давай, как сказал Мичурину фрукт, уродуй.

Раньше, подруга, ты обладала силой.  
Ты приходила в полночь, махала ксивой,  
цитировала Расина, была красивой.  
Теперь лицо твое - помесь тупика с перспективой.  
Так обретает адрес стадо и почву - древо.  
Всюду маячит твой абрис - направо или налево.  
Валяй, отворяй ворота хлева.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПАПОРОТНИКА

По положению пешки догадываешься о короле.  
По полоске земли вдалеке - что находишься на корабле.  
По сытым ноткам в голосе нежной подруги в трубке  
- что объявился преемник: студент? хирург?  
инженер? По названию станции - Одинбург -  
что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки.

В каждом из нас сидит крестьянин, специалист  
по прогнозам погоды. Как то: осенний лист,  
падая вниз лицом, сулит недород. Оракул  
не лучше, когда в жилище входит закон в плаще:  
ваши дни сочтены - судьей или вообще  
у вас их, что называется, кот наплакал.

Что-что, а примет у нас природа не отберет.  
Херувим - тот может не знать, где у него перед,  
где зад. Не то человек. Человеку всюду  
мнится та перспектива, в которой он  
пропадает из виду. И если он слышит звон,  
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.

Поэтому лучше бесстрашие! Линия на руке,  
пляска розовых цифр в троллейбусном номерке,  
плюс эффект штукатурки в комнате Валтасара  
подтверждают лишь то, что у судьбы, увы,  
вариантов меньше, чем жертв; что вы  
скорей всего кончите именно как сказала

цыганка вашей соседке, брату, сестре, жене  
приятеля, а не вам. Перо скрипит в тишине,  
в которой есть нечто посмертное, обратное танцам в клубе,  
настолько она оглушительна; некий анти-обстрел.  
Впрочем, все это значит просто, что постарел,  
что червяк устал извиваться в клюве.

Пыль садится на вещи летом, как снег зимой.  
В этом - заслуга поверхности, плоскости. В ней самой  
есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или  
просто к небытию. И, сродни строке,  
"не забывай меня" шепчет пыль руке  
с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шепот пыли.

По силе презренья догадываешься: новые времена.  
По сверканью звезды - что жалость отменена  
как уступка энергии низкой температуре  
либо как указанье, что самому пора  
выключить лампу; что скрип пера  
в тишине по бумаге - бесстрашие в миниатюре.

Внимай же этим речам, как пению червяка,  
а не как музыке сфер, рассчитанной на века.  
Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья  
песня. Того, что грядет, не остановить дверным  
замком. Но дурное не может произойти с дурным  
человеком, и страх тавтологии - гарантия благополучья.

1988

## FIN DE SIECLE

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.  
Это, боюсь, не вопрос чутья.  
Скорей - влияние небытия

на бытие: охотника, так сказать на дичь,  
будь то сердечная мышца или кирпич.  
Мы слышим, как свищет бич,

пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,  
барахтаясь в скользких руках лепил.  
Мир больше не тот, что был

прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот,  
кушетка и комбинация, соль острот.  
Кто думал, что их сотрет,

как резинкой с бумаги усилья карандаша,  
время? Никто, ни одна душа.  
Однако время, шурша,

сделало именно это. Поди его упрекни.  
Теперь повсюду антенны, подростки, пни  
вместо деревьев. Ни

в кафе не встретить сподвижника, раздавленного судьбой,  
ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой  
ангела в голубой

юбке и кофточке. Всюду полно людей,  
стоящих то плотной толпой, то в виде очередей.  
Тиран уже не злодей,

но посредственность. Также автомобиль  
больше не роскошь, но способ выбить пыль  
из улицы, где костыль

инвалида, поди, навсегда умолк;  
и ребенок считает, что серый волк  
страшней, чем пехотный полк.

И как-то тянет все чаще прикладывать носовой  
к органу зрения, занятому листвой,  
принимая на свой

счет возникающий в ней пробел,  
глаголы в прошедшем времени, букву "л",  
арию, что пропел

голос кукушки. Теперь он звучит грубей,  
чем тот же Каварадосси - примерно как "хоть убей"  
или "больше не пей",

и рука выпускает пустой графин.  
однако в дверях не священник и не раввин,  
но эра по кличке фин -

де-сьекль. Модно все черное: сорочка, чулки, белье;  
когда в результате вы все это с нее  
стаскиваете, жилье

озаряется светом примерно в тридцать ватт,  
но с уст вместо радостного "виват!"  
срывается "виноват".

Новые времена! Печальные времена!  
Вещи в витринах, носящие собственные имена,  
делятся ими на

те, которыми вы в состоянии пользоваться, и те,  
которые по собственной темноте,  
вы приравниваете к мечте

человечества - в сущности, от него  
другого ждать не приходится - о нео-  
душевленности холуя и о

вообще анонимности. Это, увы, итог  
размножения, чей исток  
не брюки и не Восток,

но электричество. Век на исходе. Бег  
времени требует жертвы, развалины. Баальбек  
его не устраивает; человек

тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс  
вспоминания. Таков аппетит и вкус  
времени. Не тороплюсь,

но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из  
прошлого, если таков каприз  
времени, сверху вниз

смотрящего - или через плечо -  
на свою добычу, на то, что еще  
шевелится и горячо

на ощупь. Я готов, чтоб меня песком  
занесло и чтоб на меня пешком  
путешествующий глазком

объектива не посмотрел и не  
исполнился сильных чувств. По мне,  
движущееся вовне

время не стоит внимания. Движущееся назад  
стоит, или стоит, как иной фасад,  
смахивая то на сад,

то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,  
неплох. Разве что мертвецов  
в избытке; но и жильцов,

включая автора данных строк,  
тоже хоть отбавляй, и впрок  
впору, давая срок,

мариновать или сбивать их в сыр  
в камерной версии черных дыр,  
в космосе; либо - самый мир

сфотографировать и размножить - шесть  
на девять, что исключает лезть -  
чтоб им после не лезть

впопыхах друг на дружку, как штабель дров.  
Под аккомпанемент авиакатастроф,  
век кончается; проф.

бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной  
атмосферы, что объясняет зной,  
а не как из одной

точки попасть туда, где к составу туч  
примешиваются наши "спаси", "не мучь",  
"прости", вынуждая луч

разменивать его золото на серебро.  
Но век, собирая свое добро,  
расценивает как ретро

и это. На полюсе лает лайка и реет флаг.  
На западе глядят на Восток в кулак,  
видят забор, барак,

в котором царит оживление. Вспугнуты лесом рук,  
птицы вспархивают и летят на юг,  
где есть арык, урюк,

пальма, тюрбаны, и где-то звучит там-там.  
Но, присматриваясь к чужим чертам,  
ясно, что там и там

главное сходство между простым пятном  
и, скажем, классическим полотном  
в том, что вы их в одном

экземпляре не встретите. Природа, как бард вчера -  
копирку, как мысль чела -  
букву, как рой - пчела,

искренне ценит принцип массовости, тираж,  
страшась исключительности, пропаж  
энергии, лучший страж

каковой есть распушенность. Пространство заселено.  
Трению времени о него вольно  
усиливаться сколько влезет. Но

ваше веко смыкается. Только одни моря  
невозмутимо синеют, издали говоря  
то слово "заря", то - "зря!".

И услышавши это, хочется бросить рыть  
землю, сесть на пароход и плыть,  
и плыть - не с целью открыть

остров или растенье, прелесть иных широт,  
новые организмы, но ровно наоборот;  
главным образом - рот.

1989



## ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ШМАКОВА

Извини за молчанье. Теперь  
ровно год, как ты нам в киловаттах  
выдал статус курей слеповатых  
и глухих - в децибелах - теперь.

Видно, глаз чтит великую сушь,  
плюс от ходиков слух заложило:  
умерев, как на взгляд сторожила -  
пассажир, ты теперь вездесущ.

Может статья, тебе, хвастуну,  
резонеру, сверчку, черноосу,  
ощущавшему даже страну  
как безадресность, это по вкусу.

Коли так, гедонист, латинист,  
в дебрях северных мерзнувший эллин,  
жизнь свою, как исписанный лист,  
в пламя бросивший, - будь беспределен,

повсеместен, почти уловим  
мыслью вслух, как иной небожитель.  
Не сказать "херувим, серафим",  
но - трехмерных пространств нарушитель.

Знать, теперь, недоступный узде  
тяготенья, вращению блюдец  
и голов, ты взаправду везде,  
гастроном, критикан, себялюбец.

Значит, воздуха каждый глоток,  
тучка рваная, жиденский ельник,  
это ты - однокашник, годок,  
брат молочный, наперсник, поделник.

Может статься, ты вправду целей  
в пляске атомов, в свалке молекул,  
углерода, кристаллов, солей,  
чем когда от страстей кукарекал.

Может, вправду, как пел твой собрат,  
сантименты сильнее без вместилищ,  
и постскрипtum махровой стократ,  
чем цветы театральных училищ.

Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей  
как защита от мины капризной  
солоней атлантических щей  
и не слаще от сходства с отчизной.

Но, как знавший чернильную спесь,  
ты оттуда простишь этот храбрый  
перевод твоих лядвий на смесь  
астрономии с абракадаброй.

Сотрапезник, ровесник, двойник,  
молний с бисером щедрый метатель,  
лучших строк поводырь, проводник  
просвещения, лучший читатель!

Нищий барин, исчадь кулис,  
бич гостиных, паша оттоманки,  
обнажавшихся рощ кипарис,  
пьяный пенъем великой гречанки,

- окликать тебя бестолку. Ты,  
выжав сам все, что мог, из потери,  
безразличен к фальцету тщеты,  
и когда тебя ищут в партере.

Ты бредешь, как тот дождь стороной,  
вьешься вверх стружкой пара над кофе,  
треплешь парк, набегаешь волной  
на песок где-нибудь в Петергофе.

Не впервой! так разводят круги  
в эмпиреях, как в недрах колодца.  
Став ничем, человек - вопреки  
песне хора - во всем остается.

Ты теперь на все руки мастак -  
бунта листьев, падения хунты -  
часть всего, заурядный тик-так;  
проще - топливо каждой секунды.

Ты теперь, в худшем случае, пыль,  
свою выше ценящая небыль,  
чем салфетки, блюдущие стиль  
твердой мебели: мы эта мебель.

Длинный путь от Уральской гряды  
с прибауткою "вольному - воля"  
до разреженной внешней среды,  
максимально - магнитного поля!

Знать, ничто уже, цепью гремя  
как причины и следствия звенья,  
не грозит тебе там, окромя  
знаменитого нами забвенья.

*21 авг. 1989 г.*

## Содержание

Памяти Н. Н.	. . . . .	.3
Посвящается Джироламо Марчелло	. . . . .	.5
Вид с холма	. . . . .	.7
Томасу Транстрёмеру	. . . . .	.9
"Подруга, дурнея лицом..."	. . . . .	10
Михаилу Барышникову	. . . . .	12
"Снаружи темнеет..."	. . . . .	13
Каппадокия	. . . . .	14
Подражание Горацию	. . . . .	17
Лидо	. . . . .	19
Пристань Фегердала	. . . . .	20
"Я слышу не то, что ты мне говоришь..."	. . . . .	21
"Взгляни на деревянный дом..."	. . . . .	22
RITRATTO DI DONNA	. . . . .	23
Семенов	. . . . .	25
"Неважно, что было вокруг..."	. . . . .	26
Испанская танцовщица	. . . . .	27
Портрет трагедии	. . . . .	30
Примечания папоротника	. . . . .	33
FIN DE SIECLE	. . . . .	35
Памяти Геннадия Шмакова	. . . . .	40

Отпечатано в ПО-3.  
Зак. 1026. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 2,75 п. л. Тираж 3000 экз.  
ПО-3. 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 55

